**Янис Грантс, г. Челябинск**

**ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК**

*Короткие рассказы*

**Враньё**

***(из цикла рассказов «Всё вот это вот»)***

Двое стоят на светофоре. «Чё ты мне тут звездишь? Не был ты ни на какой Кубе. Скажи ещё, Фиделя видел», – говорит первый. Второй не отвечает. Лыбится только во весь широченный рот, обнажая прокуренные зубы. «Машин-то нет. Пошли», – говорит второй. Он уже не лыбится, а щурится, делая шаг на дорогу. «Ты когда-нибудь отлетал от капота метра на три? А я отлетал. Тоже думал, что машин нет. А они – есть! Весь переломанный был. Еле собрали тогда в больнице», – говорит первый, но всё же идёт за вторым на запретный сигнал. «Врёшь и не краснеешь», – реагирует второй.

Следом двое молодых родителей подходят к перекрёстку. Между ними – мальчик лет четырёх. Он пытается шагнуть на проезжую часть. «Стой. Видишь: красный же», – одёргивает мать. «А вон те – пошли», – показывает мальчик ногой (руки прикованы к родительским рукам) в сторону первого и второго. «Они будут гореть в аду», – говорит отец. «Как это – в аду?» – поднимает голову мальчик. «Не полощи ребёнку мозги», – реагирует мать. «Ты тоже будешь гореть в аду», – говорит ей отец, то есть муж. Загорается зелёный, семья ступает на зебру.

Девушка и юноша целуются на ходу. Они не торопятся проскочить на разрешающий сигнал, останавливаются и по-прежнему почти не отрывают губ друг от друга. «Как же я устала. Ходим весь день безостановочно. Голодная как бетономешалка. С чего это бетономешалка голодная? Ну вот, это всё от усталости. А у меня ещё – античная литература», – думает девушка, целуясь. «Ни одной приличной шиномонтажки в районе. Это мне что же – на другой конец города переться?» – думает парень, целуясь. Зелёный гаснет. Целуются. Загорается красный. Целуются. Красный гаснет. Целуются. Загорается зелёный. «Мне кажется, я влюбился», – говорит парень, ступая на дорогу. «Ой», – закрывает лицо ладонью девушка. «Перебор», – думает он. «Бесперспективен», – думает она.

Тем временем первый и второй идут по улице. Март. Солнце необыкновенное. Лёгкий плюс. Суббота. На деревьях сидят вороны и каркают от нахлынувших чувств. «Грачи прилетели», – говорит первый. «Не веришь – и ладно, – второй продолжает какой-то старый разговор. – Но я тебе как на духу говорю: училась в медицинском у нас. Сына мне родила. А потом взяла академический. Там у неё мать была при смерти. Словом, улетела на родину – в Чад». Первый смотрит на галдящих ворон в голых кронах и говорит: «А чего они раскаркались? Чего им тут надо? Их же – сотни». Потом закуривает на ходу и продолжает: «Если бы ты был женат на казашке – я бы поверил. От Челябинска до границы – всего ничего. Но Чад…» Он чуть склоняет голову и мотает ей. Мол, быть такого не может. «И не вернулась. Уже десять лет ни слуху ни духу», – продолжает свою арию второй. «Она, это, чёрная, так ведь?» – спрашивает первый. «Чернее твоих ботинок», – отвечает второй. «А чего ты не плачешь тогда?» – спрашивает первый. «Десять лет человек рыдать не может. Но ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Я запросы писал. Я звонил. Я в Чад летал. Только – без толку», – почему-то улыбаясь, говорит второй. Первый на ходу заглядывает ему в лицо, пытаясь угадать: неужели мужику и впрямь такая чудн*а*я судьба выпала? Второй улыбается и смотрит на голые кроны с прилипшими к ним воронами. «Брехун», – подытоживает первый.

Двое молодых родителей сворачивают на боковую улицу. Между ними – мальчик. «А меня дядя Витя конфетой угостил», – говорит он, но не поднимает лица к родителям. Оба смотрят на его макушку – большой меховой помпончик. «Что за фигня?» – спрашивает муж. «Конфета – это конфета. Не надо мне тут фантазировать», – отвечает жена. «Шо-ко-лад-ну-ю!» – по слогам выкрикивает сын на всю улицу. «Что за Витя?» – заводясь, спрашивает муж. «Забыла. Яйца же нужны. Вы идите. Дома встретимся», – говорит женщина, поправляет шапку на сыне и отчаливает. Оба провожают её взглядами, пока она не скрывается за поворотом. «А откуда ты знаешь дядю Витю?» – спрашивает отец.

Парень с девушкой заходят в закусочную «Дон бутерброд». Заказывают по расстегаю с сёмгой, по клюквенному морсу и сырный салат (один на двоих). «У нас и вкусы-то одинаковые», – успевает заметить юноша перед тем, как оба надолго погружаются в смартфоны. «У меня – три кредита. У меня – жена в Нягани. Ухаживать мне не по карману. Заниматься любовью – негде. На хрена я это всё затеял?» – думает парень, просматривая новостную ленту. «Боже, она умерла. А ведь не старая совсем. Ну, всё. Теперь начнётся делёж. И голос у неё красивый был. Только с репертуаром что-то не складывалось, ни одной песни не вспомню», – думает девушка, просматривая новостную ленту. «Знаешь, тут такое дело, – девушка выныривает из мировой паутины. – Мне идти надо. Я потом всё объясню». Парень с шумом отодвигает свой стул, встаёт. «Тебя проводить?» – спрашивает он. «Сама», – отвечает она и быстро исчезает. «Никогда больше», – смотрит ей вслед парень. «Пожалуй, я всё же возьмусь за тебя. А у меня с крючка не сорвёшься. Пока все соки не выжму – не отстану», – думает девушка.

Мама мальчика с помпончиком, девушка из закусочной «Дон бутерброд», первый и второй заходят в магазин. Ключевые герои рассказа собраны в одном месте. По закону жанра теперь они должны познакомиться, перезагрузиться, прозреть, освободиться. Да, их судьбы после какого-то непредвиденного события в магазине покатятся по новым рельсам в другом – необратимо другом – направлении. Но – ничего не случается.

Мама мальчика берёт десяток яиц. Девушка, сбежавшая со свидания, берёт обезжиренный кефир. Первый и второй берут бутылку, селёдку, хлеб. Прямо над магазином – квартира второго, куда оба и поднимаются Устраиваются на кухне. Разливают. Пьют. «Папа, – вырастает в дверях высоченный – за метр девяносто – подросток, – мне на бассейн двести рублей надо, а то не пустят сегодня». «А где “здрасьте”? Что за манеры? На. Вот, – второй достаёт из кармана пятисотрублёвку и протягивает сыну. – Сегодня объявляется праздник: старого друга встретил. Купишь себе чего-нибудь. За курево – убью».

Первый так и остолбенел на табуретке, будто превратился в каменного божка с острова Пасхи. «Четырнадцать лет охламону. Вымахал. В кого – не знаю. Спортсмен. Учится сносно», – говорит второй и поворачивается к застывшему первому. «Тебя что, парализовало?» – спрашивает второй. «Он же негр», – отвечает первый.

**Выводок**

***(из повести «Луи с грабаркой»)***

*Летом 1932 года интернациональная бригада писателей совершила поездку по городам Урала. Гостями Челябинского тракторного завода были выдающийся французский поэт Луи Арагон и его жена Эльза Триоле.*

Сейчас он запоёт: «Ах, куда же ты, Ванёк, ах, кууу…», но тут же оборвёт себя на полуноте-полуслове и спросит: «А жрать мы будем?», думает Стёпа.

(Отец разматывает портянки, смотрит вниз, выискивает новые мозоли. Хлопает себя по икрам. Кожа на ногах у него – серая с голубоватым отливом, как раннее сентябрьское небо. Подносит портянки к носу, втягивает их на все лёгкие, запевает: «Ах, куда же ты, Ванёк, ах, кууу…», но тут же обрывается на полуноте-полуслове и спрашивает: «А жрать мы будем?»)

Сейчас он скажет: «Да гори он синим пламенем, этот завод», думает Стёпа.

(Мама появляется из барачного коридора совсем не по-отцовски. И не заметишь, как дверь открывалась, как закрывалась (только дымом, что ли, кислятиной или ржавчиной повеет мимолётно), а уже – кастрюля с варёной картошкой. Отец умоется к этому времени. Сидит по пояс голый за столом. То ли хмурый, то ли нет. Перед ним – тарелка с селёдкой. (Ни одной косточки мама не пропустит, все вытянет из рыбины, не помнит Степан, чтоб пропустила). Мама улыбается. И пока ложки кладёт – всё к отцу: то локтем прикоснётся, то по макушке проведёт. А он в ответ – мину строит, будто опять копчик отбил. «И что там, на заводе?» – спрашивает мама. Будто сама работает где-то в другом месте, будто сама не вернулась с ЧТЗ два часа назад. Отец не отвечает. Снимает кожуру. Смотрит на картофелину. Без интереса, но не отрываясь, как на погоду за окном. «Сегодня вот каких-то французов притащили. Рагона какого-то, – начинает говорить отец. Медленно, будто вспоминая. И складки у него на лбу шевелятся. Вверх-вниз. Вверх-вниз. – Сказали: он о нашем героизме всему миру поэму напишет. А читать-то во всём мире по-ихнему кто умеет? Я вот и по-своёму-то – ни в пень ногой. Да гори он синим пламенем, этот завод»).

Сейчас он скажет: «Ну, покурю с этими на крыльце», думает Стёпа.

(Отец шумно пихает табурет, который должен бы полететь-перевернуться, а он – отъезжает, как игрушка на деревянных колёсиках, назад и стоит. Не шехолнётся. Стёпа тоже пробовал, но у него и ноги-то с табурета до половиц не достают. Отец натягивает гимнастёрку. Берёт спички. Вдруг задумывается, что ли. Застывает. Но вот – машет рукой, будто соглашается с чем-то спорным, и босиком идёт в коридор. Перед собой, только самому себе говорит: «Ну, я покурю с этими на крыльце». Мама собирает посуду. Зачем-то целует сына и уходит на общую кухню. Стёпа сидит. Сидит. Сидит, пока мама не возвращается. Она готовит Стёпе постель, говорит: «Ложись-ка спать». И опять уходит на кухню.

Стёпе нелегко решиться. Он столько дней – счёт на тысячи, миллионы дней – хочет спросить у отца: «А почему выводок, папа? Выводок – это же у кошек там, индюков. А я-то – человек. А я-то – один». Сейчас отец зайдёт в комнату и скажет: «Ну, спи, выводок». Тут Стёпа и спросит. Наберётся смелости и спросит. У Стёпы сердце как замотанное в тряпку: стучит глухо-глухо, редко-редко. Да и не стучит будто, а робко просится куда-то.

Стёпа лежит на полу, на соломенном матрасе. Отец – осторожно на этот раз – входит в комнату. С ним – то ли дым коридорный, то ли ржавчина. То ли кислятина. Мимо Стёпы. Не наклоняется, как обычно, не щипает за нос, не говорит: «Ну, спи, выводок». Молчит. Падает на кровать, не расправляя. Не снимая брюк. И уже причмокивает. Вот-вот захрапит. «Спи, выводок», – сквозь пелену сна говорит отец и по-детски вздыхает.

**Полынь**

***(из повести «Луи с грабаркой»)***

Никонов лежит и лежит в траве. Сухая и прошлогодняя, она бы доставала Никонову по пояс, если бы он стоял. Но Никонов не стоит нисколько, он лежит среди изросшей прошлогодней полыни, которая накрыла своими белёсыми зонтиками целый овраг. А ведь могла здесь расти и совершенно взаправдашняя свежая трава, думается Никонову. Он шарит левой рукой, насколько хватает пальцев, и выбирает самый толстый стебель. Перехватывает семь-десять, не глядя, и возвращается к тому, большему от других, который и дёргает. И вырывает. Зачем? Не знает. Просто дёргает – и всё. Лежит в безвестности и дёргает полынь. Сухая, она ещё отчаянней горчит в воздухе. Воздух не шелохнётся в своей бескрайности.

Она опирается на плечо Никонова, чтобы сесть. Забирает волосы назад, оправляет платье, застёгивает пуговицы на груди. Некрасивая, думается Никонову. Старше, думается Никонову. Люблю её, думается Никонову. Она закручивает волосы на затылке, мясистыми коленями вдавливает правую руку Никонова в изувеченную траву. Он шарит другой рукой по полному радиусу и выбирает самый толстый обречённый стебель. Это я бессознательно, думается Никонову. Вырванный корень полыни, облепленный комьями земли, напоминает ему какой-то больничный плакат, где было нарисовано сердце – такое же, соединённое с остальным человеком тонкими ниточками, которые огибали или прошивали насквозь комки людского тела. Только на больничном плакате сердце было красным и животворным, а корень полыни выглядит, как чёрное высохшее сердце. Моё, думается Никонову.

Она смотрит в траву, будто собирается с мыслями, ни одной нет, но есть терпение подождать хотя бы первую. Потом наклоняется к самому никоновскому лицу, но не целует, а дышит только, словно запоминая мелкие трещинки вокруг глаз или запах, чтобы не так тосковать по ночам. Потом резко отстраняется: «Утомилась я. И тебя утомила. И нет ничего больше, только это. А раз только это, то жизнь – одно утомленье, а радости как не было, так и нет. Стёпку ещё люблю. Но любовь матери к сыну – от природы, а бабы к мужику – роскошь. Она и утомляет». «Да не мучайся ты, – Никонов ищет следующую жертву среди полыни. – Я вот тоже в тебя втрескался. Но не хочу, чтоб ты от своего отделалась. Потому что – всё одно – ты меня на следующего обменяешь. Так и будешь менять, пока не истощишься в прах. Хочу по-старому. По-притворному». «Я что-то не поняла. Поняла только, что ты меня обидел, а по смыслу – мимо пролетело. Да и чёрт с тобой. Пойду без успеши», – говорит она. И встаёт. И одно колено заголяется, потому что подол уцепился за не выкорчеванный Никоновым зонтик.

«А человек туда полетит!» – кричит Никонов ей вслед с каким-то отчаянием, не поднимаясь. «Куда?» – оборачивается она. «Наружу, в небо, к солнцу!» – словно поёт Никонов. «На земле, что ли, дел не найдётся?» – не верит она, но смотрит вверх с сочувствием. «Только сначала лягушек запустят, потом – собак, а уж после, со всей человеческой ответственностью – и человека!» – лёжа торжествует Никонов.

Она отворачивается навсегда и идёт окольным путём к и без того неблизкому бараку.

**Разносчик пирожков**

***(из цикла рассказов «Руставели – Гагарина, Челябинск»)***

Вот рынок на перекрёстке Руставели – Гагарина. Вот трансформаторная будка. Дальше – мусорные контейнеры. Следом – ракушка, где принимают стеклотару и макулатуру. После – забор ГКБ № 2. И всё. Прямо перед социальным приютом Ленинского района для детей и подростков – поворот налево. Это улица Коммунаров. Двухэтажные развалины. Домам, наверное, лет по семьдесят. Первые этажи в землю давно ушли, окна, ну, сантиметрах в тридцати от асфальта. Тут-то Вадик и живёт. А ещё Лена. И Миша. Но Мише – шесть месяцев только. Он орать умеет громче всех. Ну и так, по мелочи: игрушки разбрасывать, обделываться бесконечно и домашним жизнь отравлять.

Вадик рыжий, высокий и сутулый. И ноги у него друг за друга запинаются. И руки до колен висят. А особая примета – лицо. Оно у него такое, будто оспой изъедено.

Вадик по рынку на углу Руставели – Гагарина пирожки разносит. Их Лена ежедневно стряпает. Лена стряпает, а Вадик разносит. Он давно уже знает, кому с капустой, а кому с картошкой. И кто какие напитки любит. Термос тоже при нём. Но рынок не сказать чтоб масштабный уж очень. Маленький такой рынок. К тому же электричество в каждом боксе есть. То есть спрос на напитки – мизерный. Можно сказать, что нет никакого спроса. Да и вообще – последнее время дело плохо идёт. Мавлен открыл палатку с шаурмой. И самсой, и беляшами тоже торгует.

Уходя из дома, Вадик запинывает все мохнатые и пластмассовые игрушки в угол, бурчит: *Порядка с вами – никакого. Всё на мне. А предположим, я свалился с каким-нибудь свиным гриппом, что тогда?*

Потом исчезает в ванной и надрывается оттуда: *Это бельё третий день в тазу киснет. Его постирают в конце-то концов?*

*Вот сам бы и постирал,* отвечает Лена, *У меня же не десять рук.* Но Вадик вряд ли слышит. Он выходит недовольный, если не сказать, злой: *Бьюсь, как рыба об лёд, а толку – ноль. Ноль целых, ноль десятых.*

*Вадик, не начинай,* говорит Лена и опирается плечом на дверной косяк, что в переводе с языка жестов этой семьи означает: я могу ответить, я тоже злая, я и убить способна.

Всё меньше у Вадика пирожков расходится. А будет ещё хуже, потому что, по слухам, в трёх новых павильонах заработают «Первый вкус» (это марка молочного завода), «Свежая рыба» и чебуречная, которую брат Мавлена откроет. Хана настанет лениным пирожкам. Амба. Вадик уже думает на почту пойти устроиться, хоть на треть ставки, но такие дела без Лены не решаются.

Сначала Вадик у Эллы в овощном боксе пришвартовался. *Всё химичишь?* спрашивает её вместо приветствия. *Да иди ты,* без злобы отвечает Элла, она себя в зеркальце рассматривает, у неё перерыв на личные нужды. Но вот она не торопясь зеркальце откладывает и изучает вошедшего. Даже через прилавок переваливается: *Всё в кроссовках по зиме ходишь. Наживёшь какую-нибудь болячку, станешь толстым, как я.* Вадик отмахивается: *Не наживу.* Элла отодвигает весы, открывает перегородку и выходит к Вадику в «торговый зал» (помещение где-то метр на три). *И ничего я не химичу,* говорит Элла, подойдя к Вадику вплотную. Прямо животом в него упёрлась. Ему как-то неловко. Элла продолжает: *А то, что тётка мне земли треть мешка принесла, так могла бы при покупке её сковырять, глаза-то на что? Морковка – она в земле растёт, понимаете, гражданин инспектор?*

*Ну-ну, не надо так подробно,* улыбается Вадик, хочет сделать шаг назад, но там – мешок с сухофруктами, *Обстоятельства вашего дела суду понятны. Вы виновны.*

*Я сейчас какой-нибудь горькой редькой заткну эту говорящую голову,* отвечает продавщица и даже делает вид, что высматривает подходящий кляп в коробке со всяким неликвидом и гнилью. *Элла, ты будешь ленину стряпню покупать, или я дальше пошёл?* спрашивает Вадик, берёт два яблока и начинает жонглировать.

*Отстань, а,* Элла возвращается за прилавок и опять открывает пудреницу с зеркальцем, *И яблоки положи на место. Впрочем, одно для Мишки возьми*. Вадик держит ручку двери, но не торопится уходить. Стесняется, и всё же спрашивает: *А чеченец-то твой вернулся? Нет?*

*Иди уже, а? Или нет, подожди. Ты что это топчешься полчаса? Заигрываешь со мной?* спрашивает Элла, улыбаясь, и захлопывает пудреницу. *Да ну тебя,* говорит Вадик и уходит, но через полминуты возвращается: *Спасибо за яблоко.*

*Сто шестьдесят рублей,* подсчитывает Вадик прибыль от своей торговли. Значит, небольшой батон варёной колбасы и городская булка. В колбасном павильоне он долго вычитывает этикетки, рассуждая вслух: *Соя? Нет, мне не подходит. Е-250 – это ж зараза, я читал! Настоящий яд! Слушай, Таня, а ничего поприличнее нет?*

*Я последний раз такое терплю,* отвечает Таня.

Дома Вадик ест на скорую руку, выслушивает упрёки Лены, что колбаса – это роскошь, а мука вот-вот закончится. *Не суетись,* отвечает он, *Я всё прикинул: будет у тебя и на муку, и на детское питание.* Потом Вадик берёт лом, лопату и идёт отбивать колонки. На эту нехитрую должность Лена устроилась, но не с Мишкой же ей туда таскаться. Деньги мизерные, да у этой троицы любая копейка на счету.

Это надо по Коммунаров аж до «Авроры» дойти, там ещё по Гагарина пару остановок и затем только во дворы свернуть, и вот – частный сектор. Вода и прочее к этому кварталу, конечно, подведены, но и колонки на улицах остались. Их четыре штуки. Вадик должен лёд вокруг них поотбивать и дорожку подновить, песком посыпать. Расчистить водопой, как он говорит.

 Пять часов. Сумерки почти. Вадик возвращается домой и видит, что на дороге по Руставели порядка нет. Затор. Гудки. Манёвры. Вадик подходит ближе и наблюдает: по центру проезжей части мечется котёнок. Рыжий, как он сам, только без оспы на лице. Хотя кто её, эту оспу, с расстояния пяти метров разглядит.

Вадик бросает лопату и лом, выходит на обочину, со знанием дела показывает ближайшему водителю, мол, стой, не шелохнись, меня не задави, потом поднимает большой палец вверх, мол, отлично. Подходит к котёнку, берёт его одной рукой и прижимает к себе. Котёнок и не думает вырываться, и не мяучит больше, может, даже засыпает. И Вадик возносит котёнка высоко, насколько хватает руки. И машет им, как олимпийским букетом после исполнения национального гимна. И улыбается на все свои сплошные зубы. И думает, что счастлив, и что все люди на земле – тоже счастливы.

*Боже,* говорит Лена, когда объявляется Вадик, *Он же Мишку исцарапает всего. Он же какой-нибудь тифозный наверняка. Лишай на лишае.*

*Да ладно, мам,* отвечает Вадик, *Это подарок мне на день рождения. Помнишь? Послезавтра. Четырнадцать лет. Футболку с британским флагом обещала. Пятьсот рублей. А теперь – не надо. Котёнка, считай, подарила, Бублика. Бублик – бесплатный.*

*Бублик, почему Бублик?* вздыхает Лена, *И никакой он не бесплатный. Жрать будет за троих – это же видно!*

*А я на почту устроюсь. Вроде, подросткам так можно,* достаёт козырный аргумент Вадик.

*Золото ты моё,* Лена хочет обнять сына, потрепать его волосы, но она Вадику по плечо, объятия получаются какими-то неловкими, да и Вадик уходит в глухую оборону, не отвечает на материнскую нежность и даже уворачивается.

*Киснет всё ещё?* спрашивает он. Лена кивает как-то задумчиво. *Я быстро,* говорит Вадик и скрывается в ванной.

**По мотивам рассказа Теннесси Уильямса «Десятиминутная остановка»**

***(из цикла рассказов «По мотивам»)***

«Мне нужен директор», – сказал он секретарше. Та отлепилась от экрана, задержала взгляд на жирном чебуречном пятне у верхней пуговицы рубашки, которое он умудрился посадить в недавней забегаловке, и отчеканила по слогам: «Он-бу-дет-че-рез-не-де-лю». Пришедший не ожидал такого ответа. Несколько секунд он стоял как парализованный, а потом взялся расчёсывать подбородок. «Мой брат – давний приятель вашего шефа. И он обещал…» – «Через неделю». – «Я приехал чёрт знает откуда. И мой брат…» – «Директор на море. В Турции. Приходите через неделю».

Посетитель вдохнул на всю мощь лёгких, шагнул к столу и склонился над секретаршей, будто собирался её укусить: «Слышь, ты, я же не просто так припёрся…» Слова неожиданно кончились, хотя нижняя челюсть продолжала дёргаться на холостом ходу. «Я сейчас тревожную кнопку нажму», – сказала женщина, не отрываясь от клавиатуры.

Посетитель вышел прочь, услышав её уже беззлобное и насмешливое в спину: «Совсем оборзели. Всякому бродяге директора подавай». На улице он позвонил брату, тот не отвечал, а на двадцатом гудке телефон сдох. «Бродяга. Так и есть», – подумал он, вернулся на автовокзал, купил обратный билет и сосчитал оставшиеся деньги. Вышло восемьдесят три рубля. «Два беляша на две тысячи километров», – подумал он и даже улыбнулся. Надежды рухнули, но его не терзали ни отчаяние, ни злоба. У него была плоская миниатюрная фляжка коньяка. Он выпил его, едва усевшись в автобус, и уснул. А проснулся, когда водитель объявил: «Стоянка – десять минут».

Темнота расползалась по салону и накрывала улицу. «Хоть глаз выколи», – пришло на ум бродяге. Он продвигался к выходу на ощупь, почему-то придумав, что вовне, как в космосе, нет воздуха и вообще нет ничего живого. «Который час? Где мы?» – спросил наугад ни у кого, но ему не ответили.

Он сел в траву с торца вокзала. Рядом, у левого ботинка, надрывался сверчок, а неподалёку вдруг зажглась афиша в человеческий рост. Премьера фильма. Рот Юлии Пересильд был чуть приоткрыт и густо накрашен вишнёвой помадой. Портрет обрывался на плечах, а бродяге хотелось увидеть актрису целиком. Полностью и без одежды. «Я бы с ней развлёкся», – улыбнулся он и перевёл взгляд на другой портрет. Нет, этого бородатого мужика он не узнал. Афиша судорожно замигала и погасла.

Теперь свет шёл только от кафе, а платформа с автобусом слились с окружающей темнотой. «Зачем я сунулся в Челябинск? Зачем еду обратно? Я что, и вправду дебил, как говаривал отец?» – думал бродяга. Потом опять вспыхнула афиша. Из кафе вывалилась молодёжь, человек пять или шесть. Один парень, самый высокий, скрючился, заходясь кашлем и шатаясь. Ноги притащили его к лобовой части автобуса. Наконец он выпрямился, приставил ладонь к бровям, будто ему мешало солнце, и прочитал глазами: «Челябинск – Уфа – Оренбург».

«Хочу в Оленбулг! – заорал долговязый неожиданно высоким голосом. – Я еду в Оленбулг!» Компания, потерявшая его из вида, вернулась, окружила, стала оттеснять от автобуса. «Всё лавно уеду!» – вопил он. «Держи, – бродяга протиснулся к парню и протянул ему надорванный билет. – Я брал за полторы. С тебя – триста рублей». Тот схватил его за плечо. Бродяга чуть не выписал долговязому хук справа, но вовремя передумал. «А девушки там класивые?» – спросил парень.

Вокруг всё опять пришло в движение. Подвыпившая компания стала толкаться, шуметь, пить пиво, ржать. Бродяге показалось, что они распугали темноту, будто кто-то большой и невидимый с горняцкой лампой на лбу направил им луч. Долговязый выхватил билет, бросил его над головами, и надорванный клочок бумаги закружился, как в замедленной киносъёмке, пока не пропал в частоколе ног.

Бродяге было всё равно. Он отвернулся от парней и пошёл по улице без названия сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее, ничего не загадывая и ни о чём не думая. Какое-то время за спиной ещё слышались крики «всё лавно уеду в Оленбулг», но голоса стихли, а дорога продолжалась и продолжалась.

Он вернулся на площадь той же улицей, когда светало. Подошёл к афише, по-настоящему, с языком, поцеловал Пересильд в губы, растянулся на траве и выключился. Сверчок к этому часу уже закончил свою ночную смену.